

Бывалый сержант Остапчук сообщил, что с фронта прибыло крупное пополнение, причем все как на подбор — командиры разведрот, штрафбатов, волкодавы-чистильщики, а кто-то клялся, что видел одного с дипломом юриста, но это не конкретно.

— Я так понимаю, Серега, спустят тебя обратно в участковые, — заметил старший товарищ, балуясь кипяточком с превеликим аппетитом.

Акимов возмутился:

— Это с чего вдруг?

— А с того, что с всякими у тебя глушняк, — скаламбурил Остапчук, собирая хлебные крошки и посылая их в рот. — Кроликов бабкиных отыскал? Нет. А «эмку» этого, как его... заслуженного пенсионера наполеоновских кампаний? Который кровь мешками проливал. Ну, ты помнишь. А этот, теткин пропавший отрез, как его, черта аль гиппопотама?

— Мадаполама, — угрюмо подсказал Сергей. Да, эта мадамочка со своей мануфактурой попила у него кровушки.

Сержант продолжал изгаляться и перечислять, тыча пальцами в больное, а Сергей, хотя и скрежетал зубами, внутренне был вынужден признать, что во многом товарищ прав. Он огрызнулся лишь для проформы:

— Хорош гнать-то, — и замолк.

Потому что мыслишка упрямая грызла: а ну как и вправду? Тогда крышка. Полная профнепригодность. А еще и позор. Потому что прилюдная выволочка получается: его, боевого офицера с удостоверением годичных курсов следователей, который, как ни крути, все-таки обезвредил банду домушников, спустить на землю, как в сортир? Тогда уж лучше сразу копать канал какой.

«Да вот пусть попытается, черт кривой. У меня благодарность от самого генерала. Пусть только попробует, иначе...» — храбрился Сергей.

«Иначе что?» — насмешливо вопрошала совесть.

Сам перед собой он должен был признаться: да, с раскрываемостью у него — швах. Фортуна следовательская — дама переменчивая, любит долгие ухаживания, терпение и труд.

У него, Сергея, с ухаживаниями не ладится. Не получалось как следует общаться с людьми, да и работа со свидетелем упрямо не давалась. По-

тому что тут требовались не быстрота, не нахрап, а умение промолчать, выслушать, подход найти, не напугать, а то и прогнуться. Когда и вдарить мотыгой, но лишь затем, чтобы расчистить русло для потока информации, направить его, куда следует, — и выудить нужное.

И размышлять, честно говоря, он еще не умел. И соображать, понимать логику происходящего, мотивы чужих поступков, не владел наукой выявлять причины и следствия (а то и путал их местами), хватался за первую попавшуюся версию и увязал в ней, по-детски не допуская вариантов.

Всему этому надо было учиться, но для начала — признать себя неучем, и было это безумно трудно.

И вот настал день, когда новое начальство потребовало его к себе. Акимов, намертво придавив сомнения в собственной профпригодности, заносчиво выслушал констатацию того, что и сам знал, — низкий процент, все сроки прошли, жалобы и прочее. Вздернув подбородок, заявил, чуть не звеня от злости:

— Разбираемся как положено. По документам, по удостоверению я — следователь.

Новый начальник, капитан Сорокин Николай Николаевич, был, как и предупреждали, не сахар. Кривой, придирчивый, въедливый. Глаз,

говорят, ему еще до войны выбили, поэтому для фронта его забраковали. Все это время он, как с тайным высокомерием полагал Акимов, кантовался по тылам (по чьим, правда, не уточнялось). И вот этим-то единственным глазом — острым и красным от постоянного недосыпа и табачного дыма — он смерил Сергея с макушки до ног, как бы прикидывая, с чего приступить к потрошению. И начал с главного:

— Ты, товарищ Акимов, личинка, а если совсем по-народному, по фене, значит, то — салага. Не скажу «шестерка».

— Да я... — вскинулся Сергей.

— Ты про банду домушников? Так брюхо-то старого не помнит, друг мой. Было и прошло. Можешь забыть, а накрепко другое запомни: твои достижения, и в особенности курсы твои, — это тьфу и растереть. Уровень твой покамест — участковый на земле. На самой что ни на есть окраине, понял?

Акимов, играя желваками, молчал, но уши уже начинали гореть.

— И не вздумай бахвалиться, строить из себя крайнюю справедливость. Мол, я бы сажал, да по рукам дают. Знаю я вас: вчера вылупились, торбохвата грязного заловили случайно, по его же пьяни, прокурор по шапке надавал — отпустили.

И на́ те, ходят по пивнякам, гимнастерки рвут на грудях: мы, мол, ловим, а оне отпускают.

— Да я... — снова всколыхнулся Акимов, и снова Сорокин прервал его:

— И про «я» забудь. Букву эту забудь. Есть «мы», органы. Мы, милиция. И мы, милиция, на то и работаем, чтобы «оне» не были вынуждены отпускать. «Оне» — это которые пусть и с опытом, и высшим образованием, а, представь, тоже служат такому же советскому правопорядку, законности. Или хочешь сказать, что прокурорские, судейские — наши, советские люди, — спят и видят, как бы всех кровососов — да вновь на волю?

Акимов покачал головой: эва куда руководство занесло, в какие высоты.

— Значит, так. Ты не просто преступника берешь, вываливаешь, как самосвал, — во, я привез, дальше сами-сами. Твое дело — спеленать его так, чтобы у других служителей закона нашего, Основного Закона, — будь то прокурор, эксперт, суд, — были все основания полагать: вот он, преступник, а ни в коем случае не неповинный, честный советский гражданин. Ясно?

— Да не совсем. С одной стороны, вы...

— Я? — прищурился Сорокин.

Вот клещ одноглазый!

— Руководство, — поправился Акимов, — настаиваете: давай скорее, выявить и задержать. А теперь, оказывается, не только держи-хватай, надо еще работать и за людей, как вы правильно говорите, с опытом и высшим образованием. Прокурорские, эксперты, суд — это все потом, а я — первое звено, основа, и от меня все зависит, и если я где напортачу, то все правосознание рухнет. А как мне вот это все обеспечить, без образования и всего такого? Как это вы себе представляете? Технически.

Сорокин внимательно выслушал и скривился, подняв ладонь:

— Все, достаточно. Хитренький ты жук, Акимов. Излагаешь гладко: то есть вы меня не так выучили, а спрашиваете, так?

Акимов начал понимать, что зря он все это начал.

— Теперь возвращаемся к тому, с чего начали: твои курсы следователей. Выучили тебя, друг мой, а дальше — именно сам-сам. Развивайся, анализируй, образывайся. Чтобы не остаться чуркой с глазами. А главное: с людьми разговаривай, общайся, изучай людей. Стань для них не просто своим или таким же, как они. Им стань. Или ими. Вот с кем общаешься, тем и становись. Только так можно по-настоящему в душу влезть, так, чтобы

люди сами к тебе шли, сами просили выслушать. Понял?

— Тогда, так получается, проще при задержании того... предупредительный в голову, а второй уже — в воздух, — проворчал Акимов.

— Давай, милый, давай, — поддакнул Сорокин, — если совести, правосознания, — да и — что экивоки разводить — ума не хватает, так и пали. Людей-то у нас еще много осталось, всего-то двадцать миллионов полегло. И тот, по которому палишь не разобравшись, без достаточных на то оснований, он-то, конечно, ничей не муж, не сын, не брат, не руки рабочие. Чего его жалеть.

Ненавидел Акимов такие вот разговоры. И повороты такие. Ведь чувствуешь свою правоту, понимаешь, что в целом прав. А вот на деталях, на косвенном — берет начальство и так вдруг все повернет, что вот уже и уши не краснеют даже, а пылают.

— И что ж, выходит, саботажник я, а не опер? — тяжело, точно булыжники языком ворочая, проговорил он. — Удостоверение на стол, кайло в руки?

— Вот видишь, доходит до тебя, — одобрил капитан, — начал понимать, чего на самом деле стоишь. А все потому, что опыт. Ты боевой офицер, летчик, человек с высокой степенью ответ-

ственности. Самолет тебе доверяли, плод труда тысяч человек. Вот и со всей ответственностью спускайся на землю. Мотай на ус. Ты не думай, что я тебя в ковер закатываю, издеваюсь, ты же сам командовал, понимаешь...

— Я и не думаю.

— Вот и молодец. А то приходит иной пацан, понимаешь, из тех, кому под танки хотелось — да не успели, ему бы пистолет да гранат побольше. И работу свою видит не как созидание, а как разрушение: сплошная погоня, засада, пальба-поножовщина. Будет что девчонкам рассказать...

Сорокин оборвал свою речь и прищурился:

— Сам о таком мечтал?

— Нет, конечно, что я, не понимаю? — огрызнулся Сергей.

— Вот я и говорю, — мирно продолжал Николай Николаевич, — то, что для кумушек на лавочках да для девочек на танцах — героизм, то для нас, сотрудников советских правоохранительных органов, — топорная работа, нечеткие действия при задержании, а то и саботаж. Понимаешь, о чем я?

Акимов заверил, что понимает. Хотя не очень.

— Поспешил. Спугнул. Недоучел. Доказательств мало. Ты пойми: преступник — он не дурак. Если ты все сделал как надо, и он сам по-

нимаает — нет надежды, нет лазейки, то он и сопротивляться не станет. Зачем? Одно дело, если невменяемый — тут я не спорю. Но это исключение, не правило, а на деле нормальный человек — даже головорез — понимает: если все доказано, то идти некуда. Все равно возьмут, только уже с прицепом: сопротивлялся при задержании. И нарицует прокурор — я тебя уверяю, с превеликим удовольствием, — уже не восемь годков, а все десять.

Акимову показалось, что он все-таки уловил какую-то неувязочку, и не преминул по горячности вставить:

— Пряма так-таки некуда идти, Николай Николаевич, скажете тоже. Годами бегают...

Сорокин аж руки потер от удовольствия:

— Прости. Про таких, как я, говорят: связался черт с младенцем. Ждал я твоей ремарочки. Но ты же сам понимаешь, как еще учить-то вас, умников? А на твою реплику отвечу так: если прямо сейчас кто и бегаает, то ненадолго это. Эх ты, следователь! Не было тебя под Берлином в марте-апреле сорок пятого, а то бы...

Акимов насторожился: как же, говорили, по тылам одноглазый кантовался?

— А то бы что? — осторожно спросил он.

— Да ничего. Это со стороны казалось: крах, паника, толпы беженцев. Что ты! Осведомители

работали как часы, о каждом информация поступала минимум из двух источников — от соседа и от жены... ну, не важно. Идею понял?

— Не совсем.

— Поясняю еще раз для особо одаренных, — терпеливо сказал Сорокин. — Если в агонизирующем рейхе система надзора карательного государства продолжала работать в лучшем виде, то как ей не работать у нас, в стране, спаянной военными годами, Великой Победой, совместным трудом?

Начальник поднялся, прошелся по кабинету, встал у окна, опершись на подоконник.

— Бегают, говоришь? Ну, пусть бегают, пока есть чем... Бегают, само собой, людей убивают, документы подделывают, да и есть где приткнуться: Западная Украина, Молдавия, Прибалтика, да и Сибирь. Но я тебе так скажу: недолго им бегать, если каждый из нас на своем месте, в своих пределах будет бдительным. Само собой, по тайге, по тундре, да и просто в лесу, еще не разминированном, есть где спрятаться, только ведь пытку одиночеством мало кто снесет. Оно, одиночество-то, страшнее голода и тюрьмы, даже самого строгого режима. А среди людей не утаишься, и с каждым годом все труднее и труднее будет.

— Это почему ж так?

— А потому что работает система. Прописка. Паспорта даже в деревне. Потому что и сейчас и в участковых, и в отделах кадров такие зубры сидят — похлеще смершевцев. Потому что проходные с вахтерами, общежития с комендантами, потому что лесники, сторожа со сторожихами — это не считая бдительных пионеров! Вот с этими, мой тебе дружеский совет, в контакте всегда находишь. Бесценные ребята. До всего им дело есть, до всего докопаются, все примечают. И от чистого сердца желают родине послужить. Ясно?

— Так точно.

— Вот так и служи, — подвел черту Николай Николаевич. — Времена трудные, квалифицированных кадров нехватка, бандиты да ворье распоясались, неучтенного оружия фронтовики понавозили, да и после победной амнистии... да. Поднагадили нам. Теперь так. Тут сигнал поступил с Летчика-Испытателя. По дачам лазают. Вот отправляйся туда и разберись, что там да как. Помни только, что там не простые люди, а со связями. Покультурнее, в общем. Проявишь себя как следует — вопрос о том, чтобы на землю тебя спустить, рассмотрим в положительном для тебя ключе. Усек?

— Усек, — угрюмо ответил Акимов.

— Свободен.

Правильно говорят: беда не приходит одна. Сначала Батошку — Анчуткину подобранную собаку, которая работала грелкой, спала между друзьями-огольцами, — заловили в собачий ящик, потом, прямо перед самыми холодами, свалилась новая напасть.

Власти принялись за разбор завалов. Это как раз когда зима на носу и по ночам уже мерзнешь до костей. Что им приспичило прибираться именно сейчас? Что тут строить, на окраине? Это там, в центрах, возводили огромные дворцы с потолками по три метра, где-то вырастают целыми кварталами трех-, четырех-, пятиэтажки с уже подведенной водой, сортирами в квартирах, с батареями... врут, наверное. Кому это все строить? Где рабочие руки брать? На какие шиши?

Как-то раз, когда уже хорошо подморозило и без Батошкиной шубы у друзей зуб на зуб не попадал, послышался рев мотора и кашель выхлопа, и, выглянув в оконный проем, увидели Анчутка и Пельмень целую армию, как в газете на фото про Сталинград.

— Глянь, фрицы, — просипел Яшка.

Он никак не мог согреться, и старая хворь одолевала его с новой силой: чуть пошевелишься —

и кашель, чуть успокоишься, прикорнешь — и свист в груди.

— Что, опять? — возмутился Анчутка, откашливаясь.

— Расстрелять паникера, — скомандовал Пельмень. — Не сопи. Вон наши, со стволами.

Тревога, естественно, оказалась ложной. Просто на окраину доставили пленных на разбор завалов. Было их человек... немало, вполне нормально одеты были фрицы, даже в большинстве своем выбритые и постриженные, как есть не вшивые, а стало быть, и не тифозные. Бодрые, а главное, в целом упитанные.

— Беда, слушай, чего-то вертухаев маловато, — заметил Андрюха.

— А чего ж много-то, куда им деваться? Куда им бежать-то? — рассудительно заметил Яшка.

— Ну, это... нах вест?

— Скажешь тоже. Ну и добежит до первого угла, а там его моментом разъясят.

Пельмень, подумав, согласился: так-то охрана защитит, не даст на расправу, а бежать фрицам до хаузе далеко и незачем. Зима скоро, да и куда деваться без языка и документов.

— Лодыри. Трудно, что ли, язык русский выучить? — недоумевал Яшка.

— А еще говорят, трудолюбивые, мол, фри-

цы, — заметил Пельмень. — Еле ползают, а ряхи вон поперек шире. Ночи три-четыре еще спокойно можно перекантоваться, а там поглядим, может, и похиряем в соседний квартал. Пока еще до нас доберутся.

Полдня отработали пленные, разбирая завалы, и Анчутка с Пельменем, которые уже перестали их опасаться, оценили качество их труда и масштаб работы и решили, что никакого смысла нет смываться прямо сейчас.

— Еле клешнями шевелят, — констатировал Анчутка, — только глаза мозолят. Принесла их нелегкая. И так мерзнем до полного окоченения, а теперь уже куда деваться.

Снова послышался шум мотора, отстреливалась очередями прогоревшая выхлопная труба, прокрякал клаксон. К развалинам причалила — совершенно определенно — кухня! Пленные моментально закончили и без того неторопливую, без энтузиазма, работу, зато быстро и четко, как на плацу, выстроились в шеренгу на раздачу.

— Только глянь...

— Вот твою ж бога душу...

Пацаны матерились, подбирали слова, делились впечатлениями: а как иначе? Что ж за дела-то на белом свете? Покрасневшие, сопливые

носы услужливо сообщали ссохшимся кишкам: похлебка мясная, каша и... масло! И кому?!

— Жируют фрицы, — завистливо цыкая зубом, процедил Яшка. — Народ-победитель с голоду поддыхает, а они...

— Ну мы ж не они, — заметил Пельмень, сглатывая слюну, — пленных голодом не морим.

Дурманящие ароматы туманили мозги, так и хотелось проскользнуть ужом между битым кирпичом, нырнуть с головой в этот дымящийся чан — и жрать, жрать, глотать, обжигаться. И пусть хоть убивают потом.

По счастью, остатки разума и жизненный опыт подсказали, что не то что нырнуть — добраться до чана не получится. Во-первых, далеко, во-вторых, Яшка, вот уже месяц перхающий, как старая овца, на полпути упадет, а то и вовсе откинется. Ну и охрана, хотя и мало их, что ни говори, а все ж бдит...

Бдил и тот, что на раздаче. Фриц. Точнее, половником орудовал наш, но рядом стоял пленный и каждую миску-кружку отмечал по бумажке. И не только посуду с хавчиком отмечал, но и кто по сколько раз подошел.

Кто-то из гансов пытался протиснуться за добавкой, но этот, с бумажками, мигом оса-

живал. Десяти минут не прошло, как на этого держиморду ругались уже все — и раздатчик, недовольный тем, что его заставляют половник заполнять не как получается, а точно как положено, и пленные, которые хотели жрать, а не стоять в очереди. Да и охрана косилась неодобрительно.

Этому, что с бумажкой, все было нипочем.

Возможно, потому, что остальные были в пижонистых кепчонках с пуговками и хлипкими ушами, а этот — в удивительной шапке, похожей на островерхий конус, из серебристо-серой овчины, да еще и в советской шинели, которая оборачивалась вокруг него чуть ли не вдвое. Перетянута она была ремнем с пряжкой, с которой был спилен орел.

Вот он стянул варежки — именно варежки, причем тоже наши, трехпалые, — и в глаза бросились удивительные руки с бесконечными пальцами. Которые немедленно побелели, потом посинели — видать, приходилось уже отмораживать.

Высокомерно игнорируя выступления, фриц успевал проконтролировать все — и количество жратвы в каждом половнике и в каждой миске, и соблюдение очереди, и физическое состояние товарищей, и кто сколько на выходе получил щец и хлебушка.

— Ты ручки им еще проверь, — проворчал Андрюха, — помыли — не помыли. Да, с таким клещом на сторону фиг что перепадет.

— Унтер какой-нибудь, из бывших, — предположил Яшка, — ишь как хлебалом дергает. А уж фуражка-то! Истинный ариец.

Они прыснули, но тотчас захлопнули рты — напрасная предосторожность. Ветер, гуляющий по развалинам, свистал разбойником, заглушая все звуки.

Раздача между тем медленно, но подходила к концу, последним свою пайку получал именно «унтер». Мстительный раздавала не преминул этим воспользоваться — плеснул прямо на самое доньшко, да не в миску, как прочим, а в какую-то консервную банку, снегом наспех протертую.

Только было слышно, как он хабалисто вякал: «Где я тебе миску возьму? Ишь, фон-барон. Бери что есть». Обделенный фриц лишь дернулся, но не произнес ни слова.

«Размазня, — подумал Пельмень. — Уж я бы не промолчал, это факт... А молодец мужик: голодный, а сначала проследил за тем, чтобы не обделили товарищей, а потом еще жрет последки и добавки не требует».

Поскольку от него до «бруствера», за которым таились Анчутка с Пельменем, было не бо-

лее полусотни метров, легко было видеть, как фриц застилает бетонную плиту газеткой, расставляет свою пайку, достает из недр шинели склянку...

— Бухло? — удивился Анчутка. Пельмень лишь плечами пожал, сбитый с толку не менее товарища.

«Унтер», взболтав склянку, плеснул из нее на замерзшие, по-покойнически синие пальцы, — в морозном воздухе аж зазвенело от сильного запаха.

— Шнапс, что ли? — прошептал Яшка.

— Сам ты шнапс, одеколон, — со знанием дела поправил Пельмень. — Ишь ты, ручки начищает. Что боишься-то, такой заразой и микроб побрезгует...

Не выдержав, хихикнул, и Анчутка прыснул — и очень зря это сделал: хапнув ледяного воздуха, немедленно зашелся в кашле.

Напрасно шикал друг: «Цыц ты, холера!» и прочее, напрасно Яшка зажимал рот и ужасно пучил глаза. Приступ не утихал.

Хорошо, что фрицу не до того было: закончив «сервировку» и сняв папаху свою распрекрасную — ну и уши же у него оказались! Локаторы! — он сложил руки, отвернулся к стене и на какое-то время замер.

— Чего это он? — шепнул Яшка, а Андрюха проворчал:

— Набожный. Небось, когда в наших девок-детишек пулял, тоже боженьку на помощь звал, черт... Черт! Да тихо ты!

Яшка, обессилев от приступа, привалился к стене. Кладка, обветшавшая от времени, взрывов, дождей и морозов, немедленно капитулировала, из-под Анчуткиных субтильных лопаток, словно пот, струйкой заструились пыль, камешки и прочая дрянь сыпучая. Тут еще, как назло, ветер попритих.

Фриц безошибочно — ишь, в самом деле ушастый — глянул в сторону шума, отложил ложку, которую только-только натер какой-то тряпочкой, и направился к ним.

— Тикаем! — вякнул было Пельмень, но Анчутка лишь руками развел, дыша со свистом. Андрюха пошарил по полу, нащупал увесистый камень, приготовился... хорошо, что это был не каратель с автоматом в руках, а пленный, в смешной папахе и советской шинели. И потому-то не влетел камень в высокий лоб, не брызнули на кирпичи тевтонские мозги, — и фриц просто подошел и заглянул за «бруствер».

Некоторое время они разглядывали друг друга: три оборванца, обмотанные чужим тряпьем.

Глаза у фрица оказались зелеными, как неспелый крыжовник, аж скулы свело, а лицо изуродованное: прямо по левому глазу, через лоб ко рту, проходил глубокий шрам. Разорванная и небрежно заштопанная губа вздернута, и лицо в итоге выглядит как маска на городском театре: одна сторона скалится в улыбке, другая пусть и не плачет, но мрачноватая.

И взгляд у немца был такой люто-голодный, пронизывающий, что Пельмень, позабыв о камне, пролепетал:

— Дяденька, ниht шиссен.

«Унтер» хмыкнул, выдал что-то на своем собачьем наречии, ворча, вернулся к своему «столику» и, когда подошел снова, протянул пацанам свою консервную банку.

— Отравить хочет, — быстро сказал Яшка.

— А покласть, — немедленно отозвался Андрияха.

И торопливо, но по-братски, по глотку на каждого, они сожрали фрицеву пайку — из подзадохшейся капусты, это да, но на мясном концентрате, сытном, ядреном. Было похлебки ничтожно мало, но все-таки лучше, чем ничего.

— Фсе? — спросил «унтер» и щелкнул своими удивительными щупальцами. — Тай.

Пельмень протянул ему посуду.

— Данке шон, — поблагодарил образованный Яшка и закашлялся.

И снова «унтер» зыркнул крыжовенными буркалами, вздохнул и, вытащив из кармана, вручил Пельменю кусочек хлеба, прозрачный, как осенний лист.

Впоследствии, уже взрослым, Андрюха сам себе признавался, что в этот момент был готов запихать в себя и эту скудную пайку, проглотить до последней молекулы — и плевать и на то, что протягивает хлеб смертельный враг, и на больного Яшку.

Однако так пристально, оценивающе смотрел фриц, что не посмел Пельмень опозориться, понял своим замерзшим и скукоженным умишком, что нельзя так. Бережно, по крошечке, он честно и поровну разделил пожертвование и немедленно заметил, что оскал фрица стал улыбкой. Синий от холода и голода, он как будто весь засветился ею, до самых оттопыренных, как в прошлой жизни мама замечала, «музыкальных», ушей. Хлеб был непривычный: не черный, не светлый, а какой-то серый, не магазинный, видать, из какой-то особой пекарни.

Раздался крик охраны: «Кончай перерыв! За работу». Фриц, собирая со своего «стола», выдал еще одну длинную тираду, в которой прозвучало

«шпиталь», «швинзухт» («Больной свиной ругается?») — подумал Анчутка), но, понимая, что говорит впустую, поспешил за зов.

— Тикаем, Андрюха, — поторопил Яшка. — Ща вертухаев приведет.

— Да хорош, — лениво возразил друг. — Ему-то на что? Ох и хорошо-то как!

Они прислушивались к своим внутренним ощущениям, к таким довольным желудкам. Радость оказалась недолгой, воспоминания о похлебке испарились очень скоро, и есть захотелось с новой силой.

К вечеру на промысел Пельменю пришлось идти одному, Анчутка совсем расклеился. Потом он всю ночь дрожал, не мог никак улечься, что-то приговаривал во сне и кашлял, кашлял, кашлял. Андрюха начал серьезно подозревать, что надо бы другу в больницу — а там как кривая вывезет, пусть в детдом, и там люди живут, говорят. Однако стоило наутро завести разговор, как Анчутка взбесился и зашипел:

— Только заикнись об этом, задушу ночью! Ишь чего удумал. Лучше тут подохнуть!

— Да тихо ты, — увещевал друг. — Не хочешь — не надо, только не ори. А то, слышь, снова едут!

И снова прибыл транспорт и вывалил немцев, которые неторопливо разбирали завалы, сновали

с тачками, орудовали лопатами. И вновь появился «унтер» в папахе. Сразу по приезде он оторвался от своих и от охраны — было очевидно, что конвоиры не особо беспокоятся о том, что он надумает бежать, — направился к «брустверу». Убедившись, что его знакомцы на месте, вернулся к работе.

В этот раз во время обеда при раздаче «унтер» вел себя склочнее. Раздатчик поливал его отборными матюками, а тот огрызался плотными, хлесткими очередями, вставляя русские термины, — и, странное дело, в дуэли победил фриз. Выбив в качестве репараций не один, а три половника, — и не только котелок, но и три пайки в него выбил, — он, не обращая внимания на крики в спину, отправился к «брустверу».

— На, — кратко скомандовал он, подавая котелок, практически полный, — фрест, шнелле.

Пацаны поняли без переводчика. Они, чуть не с ногами влезши в посуду, уничтожили пожертвованный харч. Благодетель при этом выдавал какие-то ценные указания, то тыча в Яшкину грудь, то изображая повешение (или самоудушение?), употребляя русские народные слова, обозначающие «кирдык». Потом извлек из кармана какую-то жестянку и пантомимой принялся изображать: мол, это надо пить с горячим.

— Где я тебе горячее-то найду? — возмутился Пельмень, внимательно следящий за разъяснениями.

«Унтер» огрызнулся новой порцией разъяснений и мата, в которой проскальзывали уже знакомые «шпиталь», «швинзухт» и понятный без переводчика «капут».

— Сдается мне, он за больничку болтает, — заметил Яшка угрюмо. — Или госпиталь, или капут.

— Йа, йа, — кивнул фриц, в том смысле, что судьбу свою Анчутка понимает вполне правильно. И все совал в руки свою жестянку. Пришлось взять.

Покликали всех снова на «арбайтен», фриц поднялся, указал на пол, потолок и стены, затем ткнул себе в запястье, в отсутствующие часы, и, наконец, помахал руками, как бы сгоняя мух. Сдернул чудо-папаху, нахлобучил на голову Анчутке — и скрылся с глаз.

— Эва как, — вдумчиво произнес Пельмень. И замолчал.

Яшка прогудел из-под овечьего конуса:

— Грит, завтра тут разбирать начнут. Валить надо.

— Надо — свалим, — флегматично заметил Пельмень, рассматривая подарок. Под крышкой оказался перетопленный желтоватый жир.

— Вот это дело, — оживился Яшка, — это ж надо долго хватит, если по чуть-чуть. Жир, он сытный.

Андрюха возразил:

— Э, нет. Лекарство это понемногу надо. Я так понимаю, что это жир собачий. Его от кашля и зэки принимают, все знают. Фриц все повторял — «хунд», «хунд» — это собака. Точняк говорю. Его и с горячим пить надо, как он показывал.

— Не стану, — упрямо заявил, надувшись, Яшка. — Может, это вообще Батошкин.

— Станешь, — таким же манером уверил Андрюха. — Ручки-ножки повяжу да в глотку засуну. Больно надо мне тебя хоронить, мороки много. А что до хазы, есть у меня одна идеяка.

* * *

Андрюхиной идейкой оказался поселок под названием Летчик-Испытатель, располагавшийся в небольшом лесном массиве, сразу за железнодорожными путями.

Далее до соседней области тянулся серьезный лес, и ходить туда было небезопасно. Там и в мирное-то время пошаливали, а после войны до него саперы еще не добрались.

В этот светлый лесок и до войны наведывались за грибами, ягодами, орехами, хаживали туда и

в военные годы. И пусть за это время в поисках съестного все сильно повиштопали и повиломали, но лес остался, пусть и подлесок сильно поредел. После Победы герои-летчики — так рассказывали — получили от товарища Сталина это место под дачи. Было ли это именно так или как-то иначе — никто не ведает, в любом случае массив нарезали на участки и выделяли их отставному офицерству не ниже полковников. Встречались и генералы. Поселок был невелик, всего пять улиц — Летная, Пилотная, Нестерова, Чкаловская и Гастелловская, — но летом заселен бывал довольно густо. Все теплое время там кипела жизнь, а чуть холодало — окна-двери заколачивали и съезжали на винтер-квартиры.

Пельмень, понаведавшись сюда несколько раз, выяснил, что зимовщики остались только на Летной и Пилотной, а на Нестерова, Чкаловской и Гастелловской было безлюдно. Вот одну из дач — одноэтажный скромный домик с мансардой и верандой, зашитой досками, — Андрюха и облюбовал под зимовку. Тем более что ворота и парадная калитка заперты на огромный амбарный замок, а задняя дверца, то есть та, что на задах двора, выходящая в лес, закрыта была всего-то на крючок.

— Курам на смех. Крючок долой, втихую снимем пару досок, — объяснял Пельмень, — про-

лезем — и порядок. Оно, конечно, насчет печки не уверен, можно ли топить. Хотя, если не раскочегаривать, может, и не заметят. Мороза еще нет, дым валить не будет.

— Вот беда-то, — боязливо отозвался Яшка. После месяца в холодных развалинах уж так хотелось погреться у настоящей печи, но было все-таки страшновато: а ну как завалит сердитый хозяин с пистолетом? Однако ради того, чтобы поспать в тепле, можно было и побояться.

Анчутка решил:

— А знаешь что? Да хрен с ними со всеми, сразу-то не выгонят, не увидят. Где, ты говоришь, зимуют?

— На Пилотной и на Летной точно, почту им туда носят.

— Ну так это где. Кто может увидеть-то? — неубедительно, но уверенно рассудил Анчутка. — Через парадное мы ходить не станем. А если кто с главной улицы будет заходить — так сразу увидим. Тикаем через лес — и всего делов.

На том и порешили. Дождавшись ранних сумерек, пробрались к задней калитке, без труда откинули ножиком крючок, отжали пару досок, которыми была забита веранда, и проникли в дом. Внутри было темно и уютно, пахло сухим деревом и хорошим табаком. То ли сама по-

стройка была возведена на совесть, то ли не так давно хозяева съехали, но было довольно тепло. Сама обстановка простецкая: на первом этаже — одна большая просторная комната, и лестница шла наверх. Правда, что там наверху — неясно, ход забит листом фанеры, чтобы тепло не уходило, но вряд ли там было богаче, чем на первом этаже. Главное, что имела место — Анчутка вздохнул так, как будто чаша его счастья переполнилась, — великолепная печь-голландка, выбеленная, отделанная кафелем, с чугунной конфоркой да начищенными отдушинами, которые до сих пор поблескивали.

— Это хорошо, что не русская и не буржуйка, — со знанием дела пояснил Пельмень, рыща в поисках дров, — меньше будет дыму...

Предусмотрительные хозяева даже топливо уложили в сених, и сами дровишки были отменные, никакой осины — береза и елка.

«Живут же люди, — дивился Яшка, оглядываясь. — Красота-то какая!»

Никаких особых сокровищ тут не было, но само помещение — с полукруглым эркером, отделанное деревом, — было таким просторным и уютным. Видимо, его использовали как кухню и как гостиную. Красовался породистый, под потолок, буфет. Тяжелый диван, кожаный, с салфет-

кой на высокой спинке. По одной стене шли забитые книгами полки, по другой были развешаны ковры, картины, над дверью висел пропеллер.

— Вот под этим и устройсь, — сообщил Пельмень, указывая на массивный круглый стол, — а ты на диван завалишься. Сейчас растопим, согреем водички и будем тебя выпаивать.

Голландка, заботливо вычищенная перед отъездом, легко разгорелась, потянуло теплом, не хотелось ни говорить, ни думать, только молчать и слушать, как потрескивают огонь и дровашки. Закипал чайник, шипя и плюясь. Яшка, которого терзала какая-то мысль, спросил:

— Слышь, Пельмень, вот этот фон-барон чего это такой добренький?

Пригревшийся Андрюха приоткрыл глаз:

— А я почему знаю? Когда прижучит — кто-то звереет, а этот вот подобрел. Видал, как ручки-то складывал? О Боге вспомнил.

— Тут вспомнишь, — согласился Яшка. — Не, хороший мужик, хавчиком поделился, можно сказать, выбил.

— В смысле?

— Ну, поругался с этим, с поварешкой, чтобы не одну пайку, а три налил.

— Ага, крысюк какой. У своих же жратву подтибрил.

— Так он же для нас, — заметил Анчутка, но Пельмень, хотя и поколебался, своих слов назад не взял:

— А... ну да. И все равно фашист. Сегодня нам помог, а вчера душегубствовал по хуторам.

Но Яшка почему-то воспротивился:

— Нет, если бы так, его бы сразу грохнули. И потом, вот ему папаху кто-то отдал, — он любовно погладил обновку, — шинель, варежки. Поделились — стало быть, человек хороший.

Пельмень подвел черту обсуждению:

— Да бес с ним! Накормил и за шапку — спасибо, лекарству дал — туда же, а как он с другими — сам пусть отвечает.

— Перед кем? — осведомился Анчутка.

— А перед кем надо, перед тем и ответит. Трибуналу. Или кому он там молился... да хорош уже, вон, крышечка уже прыгает.

В буфете обнаружилась сахарница с несколькими кусками рафинада, подернутый белесым мед, банка забродившего варенья. И — о чудо! — жестянка с нерусской надписью, в которой оказалось пальца на три сухого молока.

Яшка немедленно сунул в нее нос, втянул одуряющий запах:

— Вот это фартануло.

Пельмень отобрал у друга банку:

— Хорош марафетиться, все вынюхаешь. Сейчас наведем.

Ох, как славно было, сменив окружение из холодных камней на теплые, дружелюбные деревянные стены, сидеть на толстом ковре около разогревавшейся печи и потягивать из настоящих (фарфоровых! небитых!) кружек кипятков с сахаром и молочную болтушку с жиром. Против ожидания, собачьим духом не пахло, зато в груди после первых же глотков заметно потеплело, дышать стало легче.

Пельмень решил так:

— Полночи один на стреме, полночи второй. Или час через три, как тебе? За печью надо следить, да и мало ли кто заявится.

— Надо, надо, — сонно поддакнул Яшка. — Ну, ты разбуди, как сам кемарить соберешься, я тебя сменю.

Видя, что друг уже отключается, Пельмень пожалел его и согласился на график дежурства. В конце концов, больной тут один.

* * *

Ближе к трем часам начался густой снегопад. Яшка, сменивший приятеля, сидел, прижимаясь к печке и отлипая от нее лишь для того, чтобы подкинуть в топку поленце. Свет, само собой,

не зажигали, только огарочек свечи прикрепили к блюдцу и заботливо налили туда талой воды, чтобы не спалить гостеприимный дом.

И около трех тридцати — он это хорошо запомнил, потому что любовался собственноручно заведенными ходиками, а концы у стрелок светились в темноте, — раздался выстрел.

В это же время промчался товарняк, и сомлевший от тепла Анчутка сперва не осознал, что сначала бахнуло и лишь потом — загрохотало. При чем стреляли неподалеку, чуть ли не под боком.

Он осторожно выглянул в оконце — и, вполне ожидаемо, никого и ничего не увидел. Разве что убедился, что снегу нападало порядочно. И все-таки что-то там стряслось, в доме напротив, поскольку сквозь доски забора блеснула полоска света, будто от фонаря. Метнулась по свежему снегу и тотчас пропала.

Калитка дачи напротив стала открываться — медленно-премедленно, как в страшном сне, — и на дорогу вышел человек. Осмотрелся, а потом отправился как ни в чем не бывало вниз по улице, спокойно, уверенно, без тени спешки.

«Ну, может, хозяин? Ключи забыл или там за банкой огурцов заехал», — успокаивал Анчутка сам себя, но никак не мог избавиться от острого чувства сожаления.

Нет, не хозяин.

Нет, не за ключами-огурцами.

И да, скорее всего, придется сматываться из гостеприимного дома, от печки и из тепла.

Яшка чуть не взвыл, но вовремя опомнился. В конце концов, надо просто все выяснить — глядишь, и ложная тревога.

Он толкнул приятеля в бок:

— Андрюха, буза, тут чего-то стряслось, как бы нам не погореть.

Пельмень тотчас проснулся, распахнул глаза:

— Ась? Что?

Выслушав рассказ Анчутки, он тоже чуть не взвыл от сожаления и тоже взял себя в руки:

— Пошли глянем, как да что.

Затушив свечу и как следует закрыв дверцу топки, пацаны выбрались из дома, прошли через заднюю калитку, обогнули участок и, крадучись, пересекли улицу. Фонари в поселке горели через раз, и все-таки от первого снега было достаточно светло. Удалось разглядеть дорожку следов, идущую от калитки соседнего дома, — она шла прямо, вниз по улице. По четким, равномерно отпечатанным отметинам видно было, что человек не бежал, а именно уходил.

— Пошли, что ли? — неуверенно спросил Яшка.

Пельмень не ответил. Обернув ручку калитки рукавом тельника, он отворил дверь с маленькой медной табличкой «А. И. Романчук» и осторожно заглянул внутрь.

Удивительно. Тут весь двор был завален снегом чуть не по щиколотку, и снегопад валил гуще, прямо смерчами кружился в воздухе.

— Метель. Аль вьюга какая, — хмыкнул Анчутка, белый-пребелый.

Снег был необычным. На дорожке смятыми сугробами возвышались пуховые подушки, безжалостно растерзанные и выпотрошенные, какие-то осколки также усыпали двор, от веранды до калитки тянулся след от матраса, и сам он обнаружился прямо у калитки.

Качественный, толстый пружинный матрац. Его полосатая обивка была изрезана, мягкое наполнение было раскидано вокруг, топорщились голые пружины.

На самом матрасе, головой на нем, а телом на снегу, лежал ничком человек в ушанке, напроочь убитых сапогах, в тельнике, поверх которого чего только не было развешано: бумажки, висюльки на шнурках, проводки. Лежал он неловко, неудобно как-то вывернувшись, так что сразу стало ясно — мертвый.

Пельмень осторожно перевернул его (он был

еще мягкий, не заочневший), Анчутка чиркнул спичкой. Вряд ли парнишка был старше них. Толстогубый, с большим лбом, с огромными, недоуменно выпученными глазами, смутно знакомым лицом. Внешних повреждений вроде бы не было, но когда Яшка чиркнул спичкой, стала заметна дыра в телогрейке с левой стороны.

— В упор стрелял, падла, — прошептал Пельмень.

— Давай, что ли, закроем, — жалостливо предложил Яшка, и Андрюха потянулся было ладонью к мертвому лицу, но вовремя опомнился и руку отдернул:

— Дурак ты, право слово. Тикаем, а то на нас повесят.

Горестно вздыхая, они вернулись в «свой» дом, прибрались, тщательно затушили печь, приладили на место доски и отправились куда глаза глядят, главное, чтобы подальше. Каждый тайком думал, что рано или поздно придет и его время, и будет он лежать таким же макарком, на снегу или в придорожной грязи, и тарашиться в небо — или на окружающих, если таковые найдутся, — стеклянными недоумевающими глазами, хорошо еще, если двумя. И точно так же, должно быть, не будут таять, падая на лицо, легкие снежинки.

* * *

Колька, прицеливаясь, поднял пистолет — и немедленно почувствовал, как затряслась рука. Привычно накатила паника, похолодело в животе: «Что это такое? Почему?» Вот уже сколько лет он, повидавший и натворивший многое, не боялся ничего. Уж сколько времени потрачено на всю эту чепуху французскую, отжимания на кулаках, на пальцах, на одной руке, стойки-«крокодилы», все эти подъемы-перевороты, укрепляющие мышцы.

Безнадега все это.

Стоит поднять чертов пистолет — и появляется липкий страх: вот промахнусь! Вот промажу, снова опозорюсь... И трясется накачанная рука, и мечется по мишени мушка, бешеной козой скачет в прорези.

Колька, стиснув зубы, попытался успокоиться, нажать на курок как учили, — но вот уже скачет не коза, а целый слон. Чем ближе к тому, чтобы спустить крючок, тем сильнее трясутся руки, тем выше и резче дергается мушка.

Ощущая, как из глаз начинают струиться злые слезы, он со злобой нажал на курок — плевать, как придется!

Грянул выстрел.

Пацан зажмурился, стиснул зубы, стараясь удержаться, не закричать, не грохнуть эту железяку об стену.

— Николай, далекий промах, — сказали рядом с ясной нотой нетерпения, с укоризной, — я неоднократно объяснял вам. Вы снова ловите десятку.

— Я знаю, — процедил Колька, стараясь сдержаться. Воспитанный человек не будет стрелять в собственного учителя.

Преподаватель физической культуры, он же — ведущий секции стрельбы, Герман Иосифович взял его за руку и принялся снова показывать, «как надо».

— Основная ваша ошибка, Николай, есть угловое отклонение. Причина: малый опыт стрельбы. Однажды приобретенный навык не останется с вами на всю жизнь, нужны постоянные тренировки, — давал он пояснения, мягко, но настойчиво преодолевая сопротивление. — Сейчас необходимо контролировать положение мушки. Мушки, понимаете?

— Да понимаю я!

— И снова отклоняетесь, — учитель деликатно, но жестко вернул корпус и руки Кольки в надлежащее положение. — Ровная мушка в прорези. Повторите.

— Мушка ровная в прорези, — процедил он.

— Не десятка на мишени вам нужна, а именно мушка. Так. Контролируйте дыхание. Начали.

Второй выстрел.

— Николай, а ведь вы опять зажмурились, — вежливо, но не без раздражения констатировал учитель. — Оба глаза закрыли. Не отчаивайтесь, результат гораздо лучше. Уже «молоко». Продолжайте, пожалуйста, — а сам отправился к Оле.

Пацан проводил его взглядом, полным лютой ненависти. Сейчас этот гад будет хватать Олю за руки, а то и за щиколотки, изменять положение корпуса, контролировать отклонение... если бы это был кто-то другой, не взрослый, преподаватель, фронтовик, — честное слово, история города пополнилась бы смертоубийством на почве ревности.

С тех пор, как Герман Иосифович появился в городе, Колька лишился покоя. Его разрывали самые противоречивые чувства. С одной стороны, он, как сын человека, которого не шельмовал только ленивый, понимал, как важно не судить о людях по своему собственному отношению к ним. Глупо и нечестно себя так вести. Если бы к нему, обвиняемому, а затем и подсудимому Пожарскому, нарсудья или, скажем, тот же Акимов отнесли подобным образом, не гулять бы Кольке на условном.

С другой стороны, этот человек действовал на нервы, мозолил глаза, и вроде не было ни малейших оснований видеть в нем врага, и все-таки...

«И все-таки должна быть бдительность», — оправдывал себя Николай.

Направление его мыслей совпадало с общим настроем. Бдительность и снова бдительность. Война еще не закончилась, то и дело возникали слухи о диверсиях, а то и взрывах, всем было понятно, что в городе скрыться проще, и потому чужак, появившийся в районе, никогда не оставался незамеченным.

Вот и Германа Иосифовича засекали с тех самых пор, когда он сошел на станции с маленьким, старушечьим, самодельным чемоданчиком. К тому же желтым.

Смугловатый, росту среднего, даже ниже, темные кудрявые волосы, нос короткий, скулы широкие, глаза светлые, крупные, глубоко посаженные. Смотрит прямо, взгляд не прячет. Одет опрятно, в форму без погон, и сама форма — не дорогая и не дешевая — хотя и поношена изрядно, но неизменно чистая и отглаженная. Подворотничок и сапоги сияют так, что глазам больно.

В заводском общежитии, куда его расквартировали для начала, тут же быстро допросили с пристрастием: откуда взялся, друг ситный? С чем

пожаловал? Почему обе ноги (руки) на месте? И что не сидится на месте, не восстанавливается родное село или хутор? Все к нам лезут, как будто город резиновый.

— Капитан, — докладывал Ленька, сын комендантши, — демобилизованный по ранению. Контузия. Одна тысяча девятьсот двадцать третьего года рождения.

— С документами что? — немедленно спросил Коля.

— Все чисто, — понизив голос, поведал Ленька, — красноармейская книжка с записью о ранении, справка из госпиталя, проездные. Мамка все вносила, так я скрепки-то проверил...

— Ну и?

— Ржавые. Я как-то в его комнату заскочил, как будто дверью ошибся. Он распаковывался как раз. И-и-и-и, сколько ж у него наград, иконостас!

Чуть позже из разговоров, обрывков, упоминаний выяснилось столько всего, что впору было смутиться и просить прощения у подозреваемого. Надо уметь признавать ошибки. А тут такой послужной список: командир разведроты, за линию фронта ходил сорок пять раз, четыре ранения, из них три тяжелых.

Что до наград, то было их на самом деле с избытком, и не только советские ордена и медали,

но и польский Серебряный крест пятой степени и еще какой-то несоветский: на перекрещенных мечах — восьмиконечная звезда с цветком и лавровыми листками.

«Вражина, а то и белополяк», — думал Колька с неприязнью, запрещая себе и вспоминать о том, что последнего зверя такого рода доби́ли за два года до рождения подозреваемого, в двадцать первом году — по крайней мере, так утверждала историчка.

Возможно, дело было в непривычном говоре — вроде бы правильном, внятном, акающем, в котором, однако, чуткое ухо различало мягкое «г». И, чтобы совсем запутать дело, он иной раз заикался.

— Вакарчук его фамилия, — сообщил Ленька.

— Бандеровец, — уверенно заявил Колька.

— Герман Иосифович, — чуть извиняющимся тоном закончил осведомитель. — Место рождения — Львов, Западная Украина.

Да. Тут уже даже Колька был вынужден признать, что для такого происхождения каша во рту вполне извинительна.

* * *

Отметившись везде, где положено, Вакарчук побродил по району, а потом отправился напрямиком в школу. И так отрекомендовался, что его

немедленно проводили к Петру Николаевичу, в директорскую, о чем-то они там очень быстро договорились — и назавтра выяснилось, что у ребят появился учитель физической культуры.

Многие — и не только Колька — презрительно хмыкали: этот дрищ? Глиста в гимнастерке? (По ходу выяснилось, что тетка-комендантша есть кремень, не склонный болтать, и о послужном списке вновь прибывшего широкому кругу не известно.)

Вскоре пришлось признать, что нет, не глиста, — это после того, как он сначала подтянулся двадцать раз «до яиц», а затем продемонстрировал безукоризненный подъем переворотом — и тоже два десятка раз сряду. Без пота и напряжения. Более того, он умудрялся и других этому научить. Так что даже отъявленные слабаки, которые до того беспомощно висели на турнике, начали исполнять этот элемент — по разу, два, три, а кое-кто уже и по десятку накручивал.

Худощавый, жилистый, мускулистый физрук с легкостью справлялся с тем, чтобы посадить, поднять, как-то иначе подтянуть до своего уровня подопечных, среди которых, несмотря на общую голодуху, встречались весьма увесистые экземпляры. И ни шуточки, ни тени насмешки не позволял.

Чуть позже показал и диковинные приемчики. Вызвав здоровяка Захарова — которого в последнее время обходили стороной самые отчаянные бузотеры, до такой степени он закабанел и раздался, — он вежливо попросил себя свалить.

Смерив физрука взглядом сверху вниз, Илья хмыкнул, протянул руки — и только. Тот неуловимо подался вперед, зацепил за майку, дернул на себя, потом наподдал под коленки — и Захаров рухнул на маты.

— Давайте еще раз. Я не успел.

— Пожалуйста, — не стал противиться физрук. В этот раз Илюха был начеку и продержался с минутой, лишь потом упал, заломанный на отменную «мельницу».

— Следующего прошу. Есть желающие?

Колька вышел на мат.

— Атакуйте, Пожарский, — приказал Герман Иосифович.

— Не приучен бить первым, — с подколкой ответил парень.

— Хорошая привычка, если к месту, — одобрил физрук. И молниеносно нырнул вперед, цепляя колено. Колька среагировал, заблокировал руку. Несколько секунд они боролись в стойке — Вакарчук отжимает его колено, Колька — физрукову руку.

«Заваливайся, дожимай корпусом», — мелькнуло в голове, но тело не поспело за мыслью, и его уже толчком опрокинули на спину. Впрочем, Колька успел кувырнуть противника через себя — не хватило маху, и вот уже Вакарчук, извернувшись по-кошачьи в воздухе, вошел в захват, прижав одной ногой руку, душил сгибом бедра, усиливая давление.

Хватая воздух в железном хвате «глисты», Коля услышал тихую подсказку:

— Для сдачи достаточно постучать по мату.

«Выкуси!» — хотел он ответить, но ни голоса, ни силы не хватало, и уже темнело в глазах, в ушах завывало, — ну и, конечно, отпустил физрук, помог подняться и громко, чтобы все слышали, заявил, что у Николая отличные способности к самбо.

— Желающих милости прошу на занятия, — пригласил он.

Он вообще оказался редкий активист, ничего не привык делать для галочки, а все с перевыполнением.

Вскоре отправился в директорскую и поинтересовался, не требуется ли школе библиотекарь. Сказали, что требуется и очень даже. С квартир эвакуированных, которые так и не вернулись, понавывозили множество книг, книжонок и